

ОРУЖЕЙНИКЪ

КЛЕЙМО ТРЕТЬЕГО СОРТА

— Сталь помнит руку —

ДАНИЛА БУЛАТОВ



Данила Булатов

**Оружейникъ. Клеймо
третьего сорта**

«Автор»

2026

Булатов Д.

Оружейникъ. Клеймо третьего сорта / Д. Булатов — «Автор»,
2026

Меня зовут Пётр Кречетов, мне шестнадцать, и мой род сорок лет клеймят третьим сортом. Любое изделие, что бы мы ни сделали. Так записано в деле. А ещё меня зовут Виктор Горелов, сорок два года, инженер-металлург. Двадцать лет закалки, отпуска и экспертиз по отказам — до того дня, когда я очнулся в чужом теле, в империи, где сталь оживляют жаром, а оружие решает всё. Палата клейм меряет изделие двумя числами: сколько жара держит и сколько теряет за сутки покоя. Сорт решает цену, заказ и место в мире. Вот только Палата меряет покой. А на границе воюют. Клинки моего прадеда признали браком. Их по ошибке отправили на заставу, и там они пережили всё первосортное железо империи. Род объявили жуликами и лишили права клейма. Никто не стал разбираться почему. Я знаю почему. Ни денег, ни связей, ни права клейма у меня нет. Есть одно: я единственный в империи, кто понимает, что именно меряет проба. И я начну с дверного замка.

© Булатов Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Двадцать девять	5
Глава 2. Дело пятьдесят девятого	9
Глава 3. Сорок один	13
Глава 4. Приказчик	16
Глава 5. Вызов	20
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Данила Булатов

Оружейникъ. Клеймо третьего сорта

Глава 1. Двадцать девять

Я очнулся на ударе.

Не до него и не после. Ровно на нём: правая рука шла вниз, молоток лёг в заготовку, от заготовки отскочила искра и погасла на фартуке. Всё это сделал кто-то, кем я был.

Рука пошла вверх снова.

Я смотрел на неё и держал в голове одну простую мысль: это не моя рука.

У моей на тыльной стороне с девяносто четвёртого года косой ожоговый шрам в полтора сантиметра — память о том, как я проверял температуру ванны без рукавицы. Здесь кожа была чистая и очень молодая.

Молоток я уронил.

— Не стой, — сказали за спиной.

Голос был старый и спокойный, и в нём не было ни удивления, ни вопроса. Так говорят человеку, который уже двести раз это слышал.

Я не обернулся. Я смотрел на наковальню.

На ней лежала железная полоса, тёмно-красная по кромке и оранжевая в середине.

Градусов восемьсот в середине, может восемьсот пятьдесят. По краям ушло ниже семисот, и бить туда было уже нельзя: холодное железо под молотком не течёт, оно трескается.

Я знал это так же твёрдо, как собственное имя.

Собственное имя, кстати, я тоже знал. Виктор Ильич Горелов, сорок два года, инженер-металлург, двадцать лет термообработки и экспертиз по отказам на заводе, который я мог бы начертить по памяти с закрытыми глазами.

И я знал, чем это кончилось.

На меня опрокинулся штабель труб у третьего пролёта: сложили в четыре яруса при норме в три и не поставили подкладки. Двадцать лет я писал в заключениях, что причина отказа — нарушение правил складирования.

Красиво закрыл тему.

— Петька.

Я обернулся.

Старик сидел на низком чурбаке у горна и держал ногу на рычаге мехов. Сухой, в прожжённой рубашке, с короткой белой бородой, которую, судя по неровному краю, он стриг сам и без зеркала. Лет семьдесят. Глаза у него были молодые и злые.

— Полосу спалишь, — сказал он.

Он качнул ногой. Меха пошли, в горне поднялось и опало, и по верху угля побежал тот самый сквозной жёлтый свет, который на заводе я видел только через синее стекло.

Горн был на древесном угле, меха кожаные и рычажные, с продранной заплатой на боку.

Я повернулся к наковальне и поднял молоток.

Полосу надо было сунуть обратно в горн. Объяснять старику, почему внук вдруг встал и забыл, как держат инструмент, мне сейчас было нельзя.

Поэтому я сделал то, что умел: взял клещи, убрал заготовку в самое пекло под дутьём и накрыл сверху кучкой угля, чтобы грелось равномерно.

Старик смотрел.

— Это зачем?

— Чтоб не только сверху брало, — сказал я.

Голос у меня был чужой. Высокий, с мальчишеской трещинкой на последнем слоге. Старик пожевал губами.

— Ну-ну, — сказал он.

Больше он ничего не сказал, а я запомнил, что это «ну-ну» было первой похвалой, которую я здесь услышал. Их потом было немного.

Пока грелось, я осматривался и считал.

Мастерская была длинная, с земляным полом и двумя окошками в четыре стекла. Горн, наковальня на дубовом пне, бочка с водой.

Рядом вторая бочка, с чем-то густым — судя по запаху, конопляное масло. Вдоль стены верстак, на нём тиски с деревянными накладками на губках.

Инструмент был развешан по стене, и вот по инструменту я и понял, что дело плохо.

Там висели пробойники и бородки, зубила, подбойки, гладилки, ручники разного веса. Всё это я узнавал, и всё это было сделано вручную.

А ещё там висели три вещи, которых я не знал.

Первая была похожа на рычажные весы, только вместо чашек на коромысле сидели два медных стакана, и один закрыт стеклом с рисккой.

Вторая — деревянный футляр с костяной шкалой от нуля до двухсот, шаг в одну единицу, на крышке клеймо с двуглавым орлом.

Третья ни на что не была похожа: медное кольцо на ореховой рукояти, с тремя проводочками внутри.

Я стоял и смотрел на них, и первый раз за это утро мне стало холодно.

Потому что инструмент — это отпечаток задачи. Я двадцать лет читал цеха по инструменту, и ни одна задача, которую я знал, не требовала медного кольца с тремя проводочками.

На стене над верстаком была прибита бумага.

Я подошёл и прочёл.

ПАЛАТА КЛЕЙМ. Отделение Тульское. Наряд на изделия скобяные, не оружейные. Кречетову, Егору Саввичу, посада Кречетово. Замков дверных нутряных — восемь. Сорт третий. Поверка в четверг, двадцать первого октября тысяча восемьсот девяносто девятого года.

Прочёл два раза. Каждое слово по отдельности мне было понятно. Вместе они не складывались ни во что.

Восемьсот девяносто девятый год.

Я стоял у стены в чужом теле, в чужом веке, в мастерской, где делают дверные замки по наряду ведомства, которого в моём мире никогда не было, и единственное, что я мог сказать себе в утешение, — это что полоса в горне греется ровно.

— Доставай, — сказал старик. — Готова.

Я достал. Полоса шла светло-оранжевым по всей длине, и это было то, что нужно.

Работал он, а я подавал.

То есть сначала я попробовал работать сам, и это кончилось быстро. Я положил полосу, примерился, ударил — и понял, что быю не туда, куда смотрю.

Молот в прежней жизни я держал два раза в год, на спор. Руки, которыми я теперь владел, молоток знали хорошо — и слушались того, кто ими жил до вчера. Этот кто-то во мне молчал.

Третий удар смазал кромку.

Старик встал, молча отобрал у меня ручник и показал одним ударом, что я делал не так. Он не объяснял. Он просто бил, а я смотрел.

Он осадил конец полосы, перевернул, взял бородок и пробил отверстие — с одной стороны до половины, потом перевернул заготовку и добил с другой, навстречу. Заусенца не осталось почти совсем.

Я стоял и думал, что мог бы написать по этому человеку отчёт на двадцать страниц, а он обо мне — ничего, и прав будет он.

— Держи, — сказал он и кивнул на клещи.

Я держал. Он правил.

— Пружину в чём калишь? — спросил я.

Он не поднял головы.

— В воде.

— Поведёт.

— Ведёт, — согласился дед. — Я потом правлю.

В воде сталь остывает рывком, и тонкую пружину от этого тянет винтом, а иногда и рвёт по кромке. В масле остывание мягче, твёрдости для пружины хватает с запасом, и править потом почти нечего.

— А в масле? — сказал я.

— Масло дорогое.

— Оно же вон, в бочке.

— То на отпуск, — сказал дед. — На закалку его идёт вчетверо. Считать умеешь — посчитай, сколько замков надо продать, чтоб бочку купить.

Я посчитал. Если замок у нас берут копеек за сорок, а бочка стоит хотя бы рублей восемь, то продать надо больше, чем нам заказывают в год.

— Ну вот, — сказал дед, будто услышал.

Он положил ручник и кивнул на верстак.

— У Тулиных масло возами стоит. И горн у них на четыре мастера. А наряд нам пишут один.

Это заняло час. Когда мы закончили, на верстаке лежал восьмой замок: нутряной, с одной пружиной, с четырёхгранным отверстием под вороток. Некрасивый и честный.

Старик сел, вытер лицо запястьем и сказал:

— Дай.

Я не понял.

— Дай, говорю, — сказал он и протянул ладонь к замку, не касаясь его.

И тогда я его почувствовал.

Не знаю, как это назвать точнее. Под ложечкой у меня всё утро сидела тёплая тяжесть, и я списывал её на то, что в чужом теле всё чужое. Сейчас эта тяжесть сдвинулась.

Она прошла из середины в правое плечо, из плеча в кисть, и кисть сама пошла вперёд, к замку, и я успел её удержать.

Старик посмотрел на мою руку. Потом на меня.

— Не ты, — сказал он. — Я.

— Почему?

— Мал.

— Я могу.

— Можешь, — сказал дед. — И по закону не имеешь права. Подручный жара не кладёт. Положишь — мне каторга, тебе училище за казённый счёт, а роду ещё одна бумага в дело.

Он подвинул замок к себе.

— Сядь и смотри.

Он положил ладонь на замок сверху.

Ничего не загорелось и не зазвенело, замок не изменил цвета. Он просто стал другим, и я это видел, хотя объяснить не мог.

Старик держал ладонь секунд двадцать. Потом убрал.

Лицо у него было такое, как у человека, который поднял тяжёлое и старается не показать, что тяжёлое.

— Вот и всё, — сказал он.

Бирки лежали на краю верстака. Восемь деревянных плашек на шнурках, с печатным оттиском и строчками от руки.

Я взял верхнюю.

Кречетово. Замокъ дверной нутряной. Ёмкость — 29. Утечка — 24.

Я посчитал, что это значит, прежде чем понял, откуда я знаю, что оно значит. Двадцать четыре процента в сутки от двадцати девяти — это шесть с небольшим в первые сутки. Через неделю останется меньше шести. Через две — ничего.

Это был брак. Норм этого мира я не знал, но двадцать лет прожил среди протоколов и бумагу, в которой цифра стоит так, узнаю по осанке.

Потом я взял вторую бирку.

Ёмкость — 29. Утечка — 24.

Третью.

Ёмкость — 29. Утечка — 24.

Я перебрал все восемь.

Везде стояло одно и то же, одним почерком, одними чернилами. На восьми разных замках, сделанных в разные дни из разного железа, двумя разными руками.

И проверка была в четверг.

То есть цифры написали за четыре дня до того, как их собирались мерить.

— Дед, — сказал я.

Он не обернулся. Он выгребал золу из-под горна.

— Дед, тут цифры уже вписаны.

— Вписаны.

— А проба в четверг.

— В четверг.

Я положил бирку.

— А если в четверг выйдет не двадцать девять?

Старик разогнулся и долго смотрел на меня. Злости в глазах больше не было. Была усталость.

— Не выйдет, — сказал он.

— Почему?

— Потому что у Кречетовых двадцать девять, — сказал дед. — Сорок лет двадцать девять. И после меня будет двадцать девять.

Глава 2. Дело пятьдесят девятого

К вечеру я знал про этот мир четыре вещи и не знал всего остального.

Знал, что идёт восемьсот девяносто девятый год и что это Тульская губерния. Знал, что посад называется Кречетово и что фамилия у меня по нему же.

Знал, что мы делаем замки, подковы и скобы, а оружие нам делать нельзя. И знал, что в этом мире есть жар, он у меня есть, и пользоваться им я не имею права.

Четыре факта. Для начала экспертизы по отказу этого мало. Для начала экспертизы вообще-то нужно знать, что отказало.

Изба стояла в тридцати шагах от мастерской, и там было теплее, чем я ожидал, и беднее, чем я был готов.

Горница, печь, стол, две лавки, образ в углу, занавеска. За занавеской — кровать деда. Мне, судя по лежащему на лавке тулупу, принадлежала лавка.

Лампа на столе была масляная, с закопчённым стеклом.

Я смотрел на неё, пока дед ставил щи, и думал, что в мастерской на стене висит прибор для измерения вещей, которые горят без масла, а в доме у нас горит с маслом.

— Садись, — сказал дед.

Я сел.

Щи были пустые, с одной капустой и луком, и я съел их так, как не ел ничего в прежней жизни, потому что шестнадцатилетнее тело за день у горна требует своё и не слушает, что ты там думаешь.

— Ты с утра как пришибленный, — сказал дед, не поднимая глаз от ложки.

Вот оно.

— Голова болит, — сказал я. — С утра. Будто память перетряхнуло.

Дед жевал.

— Спроси, — сказал он.

— Что спросить?

— Что хотел. Ты с утра у стены стоял, наряд читал, как первый раз в жизни. Спрашивай, чего не помнишь, пока я добрый.

Добрым он при этом не выглядел.

Я отложил ложку и решил, что второго такого разрешения не будет.

— За что нам запретили клеймо?

Дед поставил свою ложку в щи. Очень аккуратно, будто она была стеклянная.

— Это ты помнишь, — сказал он.

— Я помню, что запретили. Не помню, за что.

— И не надо.

— Дед.

— Не надо, — повторил он. — Сорок лет не надо. И тебе не надо.

Он встал, снял с печи тряпку и стал протирать стол, которого никто не пачкал.

Я сидел и смотрел на его спину.

В прежней жизни я сорок раз видел эту спину. Когда приходишь на участок с заключением, а мастер уже знает, что в заключении, и начинает протирать то, что чистое.

— Двадцать девять, — сказал я.

Дед остановился.

— Двадцать девять нам пишут не потому, что у нас сталь на двадцать девять, — сказал я. — Нам пишут двадцать девять, потому что у нас дело. Бирки заполнены до проверки. Значит, проверка ничего не решает. Значит, решает бумага, которая лежит где-то в Туле и которой сорок лет.

Я говорил и сам слышал, что голос у меня взрослее, чем положено, и уже не мог остановиться.

— Я не помню, за что. Но я умею читать документы. Покажи мне бумагу, и я больше ничего не спрошу.

Старик стоял с тряпкой в руке.

Потом он подошёл к лавке у окна, отодвинул её, встал на колени и поддел ножом третью от стены половицу.

В коробке из-под чая лежало немного.

Сложенный вдвое лист, пожелтевший по сгибу, и второй, помельче, писанный от руки. И ещё одна вещь, завёрнутая в ветошь, которую дед трогать не стал.

Он положил оба листа на стол, под лампу, и сел напротив.

— Читай, — сказал он. — Раз умеешь.

Я взял тот, что покрупнее.

ПАЛАТА КЛЕЙМ. Отделение Тульское. По делу о пробе клинков, поданных Кречетовым, Саввою Петровым, посада Кречетово, марта 11 дня 1859 года. Подано к пробе клинков четырнадцать. Ёмкость — 60. Утечка — 28. Сорта не удостоены. Резолюция: в показаниях мастера признан подлог. Роду Кречетовых в праве клейма отказать.

Я прочёл это трижды, и на третий раз у меня стало холодно в руках.

Не от слова «подлог». От двух цифр.

— Савва Петров — это кто? — спросил я.

— Отец мой, — сказал дед. — Тебе прадед.

— Ты его помнил?

— Я при нём стоял, — сказал дед. — Мне тридцать было. Я эти клинки подавал к пробе своими руками.

Он сказал это ровно, как говорят про чужое.

Я положил бумагу.

— Дед. Утечка двадцать восемь процентов в сутки.

— Двадцать восемь.

— Это значит, что через сутки в клинке остаётся меньше трёх четвертей. Через неделю — пятая часть. Через месяц в нём пусто.

— Так и сказали, — согласился дед. — Что через месяц пусто. И что железо, которое через месяц пусто, не оружие, а убыток.

— И что было дальше?

Старик долго молчал.

— Дальше партия ушла на границу, — сказал он. — По ошибке. Интендант спутал обозы, и наши четырнадцать поехали на заставу вместо того, чтоб вернуться к нам в мастерскую.

Он поднял на меня глаза.

— И там они пережили всё, что на заставе было.

Я сидел очень тихо.

— Как это — пережили?

— А вот так, — сказал дед. — Казённые клинки первого сорта на заставе меняли каждую неделю. Выдыхались. Наши держали месяц. Потом второй. Потом заставка написала в Палату, чтоб прислали ещё, и подписалась: клинки Кречетова.

— И что ответила Палата?

— Палата ответила, что клинков Кречетова не существует, — сказал дед. — Потому что по пробе они брак. А если брак, который держит месяц, то, стало быть, пробу подделали. Стало быть, мастер жулик. Стало быть, и заставка жулик, раз хвалит.

Он помолчал.

— Нас не за плохое железо наказали, Петька. Нас наказали за то, что железо вышло хорошее, а в бумаге стояло плохое. Бумага старше правды.

Я встал и прошёл по горнице до печи и обратно.

Я знал эту задачу.

Я эту задачу решал двадцать лет, только называлась она скучнее: расхождение результата стендовых испытаний с эксплуатационным ресурсом. Приходит деталь, по стенду — брак, в работе ходит втрое. И первое, что ты пишешь в заключении: проверить методику.

— Дед, — сказал я. — Чем мерят утечку?

— Мерником.

— Как?

Он посмотрел на меня с подозрением, и я понял, что спрашиваю то, что знает здесь любой мальчишка.

— Голову перетряхнуло, — напомнил я.

— Кладут вещь в покой, — сказал дед неохотно. — В ящик, на сутки. Утром снимают, вечером снимают. Разницу пишут. Это и есть утечка.

— В покой.

— В покой. Чтоб никто не трогал, и чтоб не работала.

— А на заставе они работают.

— Так, — сказал дед.

— Дед, — сказал я и сел обратно. — Слушай меня внимательно. Утечка — это сколько вещь теряет, когда лежит. На заставе она не лежит, ею рубят. И есть второе число, которое никто не мерит: сколько вещь отдаёт, когда ею работают.

Я положил ладонь на бумагу.

— Наши клинки отдают медленно. Поэтому в покое с них много уходит — они не держат жар крепко, он из них сочится. И поэтому же в бою они не выдыхаются: они не умеют отдать всё сразу. Они по-другому сделаны.

Я сам слышал, как это звучит, и всё равно сказал до конца.

— Прибор не врал. Прибор мерил не то. Он мерил покой, а на границе воют.

Лампа горела. На стекле была копоть, и свет от неё лежал на столе неровным кругом.

Дед смотрел на меня.

Лицо у него было такое, какого я у него больше никогда не видел. Он смотрел на меня с ужасом.

— Повтори, — сказал он.

— Прибор мерил покой, а на границе...

— Нет, — сказал дед. — Первое. Про второе число.

— Есть второе число, — сказал я. — Сколько вещь отдаёт под нагрузкой. Палата его не мерит.

Старик закрыл лицо руками.

Он просидел так, наверное, минуту. Потом отнял руки, и я увидел, что он не плакал, просто очень устал.

— Петька, — сказал он. — Ты сейчас сказал слово в слово то, что мне говорили в этой горнице восемь лет назад.

— Кто?

Дед кивнул на лавку, на которой я сидел.

— Отец твой. Андрей Егорович. Сидел вот тут, где ты, и говорил про второе число. Теми же словами. Он до него десять лет доходил, по журналам, по книжкам, по заставным отпискам. А ты сегодня за один вечер.

Он потянулся и подвинул коробку к себе.

— Он тоже сказал: покажи бумагу, и я больше ничего не спрошу. Я показал.

— И?

— И он поехал в Тулу, — сказал дед. — В Палату. С прошением о пересмотре дела пятьдесят девятого года. В марте. Сказал, что к Пасхе вернётся.

Он закрыл коробку и положил на неё обе руки.

— Восемь лет уже как Пасха.

Глава 3. Сорок один

Утром я попросил разрешения сделать замок.

Дед выгребал шлак и не обернулся.

— Наряд на восемь, — сказал он. — Девятый некуда.

— Девятый не в наряд. Себе.

— Железо своё.

— Своё, — согласился я.

Он выпрямился и посмотрел на меня через плечо.

— И в свободное, — сказал он. — Горн у меня под нарядом до четверга.

Это значило: ночью.

— Хорошо, — сказал я.

Железо я нашёл в сарае, под дровами, где оно лежало, судя по слою ржавчины, лет десять.

Обломок рессоры. Коляска, с которой её сняли, давно сгнила, а полоса осталась: длиной в аршин, толщиной в три линии, с характерным упругим звоном, когда по ней стукнешь.

Рессорная сталь. Углерода в ней много — думаю, около двух третей процента, может чуть меньше. Для пружины замка лучше не придумаешь, и купить такое нам было бы не на что.

Ещё я взял полосу мягкого железа из остатков наряда и ведро костей.

Кости я выпросил у соседки, сказав, что деду надо для клея. Соседка посмотрела на меня странно, но дала.

Их я сжёг и растолок в крошку.

Замок я делал три ночи.

Корпус и ригель — из мягкого железа. Мягкое железо хорошо тем, что гнётся и не ломается, и плохо тем, что стирается: ригель за год работы в чужих руках выработает паз и начнёт болтаться.

Поэтому ригель я зацементировал.

Это делается просто и долго. Берёшь деталь, засыпаешь её костяной крошкой в закрытой железной коробке, замазываешь щели глиной и держишь в углях при хорошем жаре часов шесть.

Углерод из крошки лезет в поверхность железа, и наружу ты вынимаешь ту же деталь, у которой корка стала сталью, а середина осталась железом.

Твёрдо сверху, вязко внутри. Будет тереться и не будет ломаться.

Дед вышел на второй ночи, посмотрел на коробку в углях и спросил:

— Это что?

— Ригель в костях.

— Зачем?

— Чтоб корка взяла твёрдость, а нутро осталось мягким.

Дед постоял.

— Долго, — сказал он.

— Шесть часов.

— Угля на шесть часов — четверть пуда.

— Я носил с осени, — сказал я. — Это мой.

Он ушёл.

Утром я нашёл у коробки свежий ворох угля, которого не носил.

Пружину я делал из рессоры, и вот тут начиналось то, из-за чего я вообще взялся.

Дед калит пружины в воде. В воде сталь остывает рывком, и это даёт твёрдость, а вместе с твёрдостью — внутреннее напряжение, от которого тонкую полосу тянет винтом, а иногда рвёт по кромке. Дед потом правит руками и тратит на правку больше, чем сэкономил на закалке.

Калить надо в масле. В масле сталь остывает мягче, твёрдости для пружины хватает с избытком, и править почти нечего.

Масла у нас не было. Масло у нас было на отпуск, в бочке, и дед считал его по кружкам.

Поэтому я взял кусок старого сала с чердака, растопил его в черепке и калил в сале.

Это работает. Сало по-своему даже лучше масла — остывание ещё спокойнее, — и единственное, что в нём плохо, это запах. К третьей ночи мастерская пахла как трактир, в котором что-то забыли.

Потом был отпуск.

Закалённая сталь тверда и хрупка. Если оставить её так, пружина сломается на первом же нажатии. Её надо нагреть обратно, немного, и выдержать — и она отдаст часть твёрдости, зато перестанет колоться.

Градусник у меня был один: цвет.

Чистую сталь греешь медленно, и по поверхности идёт плёнка. Сначала светло-жёлтая, это около двухсот двадцати. Потом соломенная. Потом бурая, потом фиолетовая, а потом синяя — и вот синяя мне и была нужна, это чуть выше трёхсот.

Я грел пружину на плитке над углями и смотрел, как по ней ползёт цвет.

Жёлтый. Соломенный. Бурый.

Фиолетовый.

Синий.

Я снял её и дал остыть на воздухе.

Потом нажал пальцем и отпустил, и она отозвалась ровно и вернулась на место, и я сел на чурбак и несколько секунд был просто счастлив.

Сорок два года, двадцать лет термообработки, тысяча заключений по отказам, и я сижу в ночной кузнице в чужом веке и радуюсь, что у меня получилась пружина для дверного замка.

В среду вечером приехал поверщик.

Он приехал на казённой тележке, в шинели с петлицами, с деревянным ящиком на ремне и книгой под мышкой. Лет сорока, усталый, вежливый, с таким лицом, какое бывает у человека на сто двадцатом объекте.

Ящик он поставил на верстак и открыл.

Внутри лежал мерник — такой же, как у деда на стене, только новее и с пломбой, и ещё коромысло с двумя медными стаканами.

Дальше я смотрел очень внимательно, потому что это была методика, а методику я читать умею.

Он брал замок. Ставил на коромысло. Записывал.

Потом подносил мерник, держал секунд десять и смотрел на костяную шкалу.

— Двадцать девять, — говорил он и писал.

Восемь замков, восемь раз двадцать девять. Иногда шкала показывала двадцать восемь, иногда тридцать, и он всё равно писал двадцать девять, потому что, как я понял, округлял до того, что ожидал увидеть.

Потом он сложил все восемь в ящик, закрыл крышку и запломбировал.

— До утра в покое, — сказал он деду. — Утром сниму утку.

— Знаю, — сказал дед.

Поверщик помялся.

— Егор Саввич, — сказал он. — Я к вам двенадцатый год езжу.

— Езжайте.

— Я вам просто скажу, чтоб вы зря не ждали. У меня в книге на вас уже вписано.

— Знаю, — сказал дед.

Утром он снял ящик с лавки, достал замки, померил и объявил:

— Двадцать четыре.

Я подошёл и посмотрел на шкалу.

На шкале стояло двадцать два.

— Двадцать два, — сказал я.

Поверщик поднял на меня глаза.

— Чего?

— На шкале двадцать два. Вы написали двадцать четыре.

В мастерской стало тихо. Дед за моей спиной перестал дышать, и я это услышал.

— Мальчик, — сказал поверщик без всякой злости. — У тебя по роду двадцать четыре. Я тебе двадцать два напишу — у меня спросят, с чего вдруг. Я тебе двадцать напишу — у меня спросят вдвое строже. А двадцать четыре у вас в деле с пятьдесят девятого года, и за двадцать четыре меня никто ни о чём не спросит.

Он закрыл книгу.

— Я тебе добра желаю, — сказал он. — Двадцать четыре — это третий сорт. Вам с ним можно торговать скобяным. Будет двадцать два — тоже третий, и ничего не изменится. А будет когда-нибудь у вас второй сорт, так я его в книгу и не впишу, потому что мне такую книгу назад вернут.

Он ушёл.

Дед выгреб золу, замёл пол и до обеда со мной не говорил.

Свой замок я положил на дедовский мерник в четверг вечером.

Он был готов. Некрасивый — корпус я повёл на второй ночи и правил напильником, — но он работал, и ригель входил без люфта, и пружина щёлкала чисто.

Жар в него дед положил сам, потому что я подручный и права не имею.

Он держал ладонь дольше обычного. Секунд сорок. Потом убрал и сел, и я видел, что ему тяжело.

— Мерь, — сказал он.

Я поднёс мерник и стал считать до десяти.

Костяная шкала была размечена мелко, по одной единице, и чтобы прочесть её при лампе, надо было наклониться.

Я наклонился.

Потом я выпрямился, потом наклонился снова, потому что решил, что мне показалось.

— Ну? — сказал дед.

— Сорок одна, — сказал я.

Дед молчал.

Я поставил замок в ящик, и всю ночь он простоял в покое, и утром я померил снова и вычел.

— Утечка девятнадцать процентов, — сказал я.

Я сел на чурбак напротив деда и попробовал сказать это как-нибудь обыденно, и не вышло.

— Сорок одна при девятнадцати. Третий сорт, нижняя граница, но третий. Настоящий третий, мереный.

Дед взял замок со стола, подержал на ладони, будто взвешивал, и положил обратно.

— Савва мой подавал шестьдесят, — сказал он. — И его называли жуликом.

Он посмотрел на меня.

— А ты принёс сорок один. И тебя тоже назовут.

Глава 4. Приказчик

Про Тулиных я к пятнице знал уже достаточно, чтобы понимать, почему дед при их имени делается деревянным.

Устроено это было так.

Дом Тулиных держал в уезде подряд на скобяной товар. Всё, что в уезде делалось из железа и не было оружием, шло через них: замки, скобы, петли, засовы, печные приборы. Мелкие мастерские вроде нашей работали им в поставку.

Мы делали замок и отдавали его Тулиным по сорока копейкам. Тулины везли его в Тулу и продавали по рублю двадцати.

Юридически всё было чисто. Клеймо ставила Палата, дом его не касался. Дом просто покупал дешево и продавал дорого, и ровно за это он и назывался домом.

— А если не им? — спросил я.

— Кому? — сказал дед.

— Ижевским. Да хоть на торг в Тулу самим.

Дед посмотрел на меня почти с жалостью.

— А наряд нам кто пишет, — сказал он.

Я подумал и понял.

Наряд Палаты на восемь замков приходил не с неба. Его писали по заявке подрядчика. Подрядчиком был дом Тулиных. Значит, если мы отказываемся продавать Тулиным, то в следующем месяце нам просто не напишут наряд, а без наряда мы не имеем права сделать ни одного замка.

Не кабала, не угроза, ничего противозаконного. Просто бумага, которую пишет не ты.

— Красиво, — сказал я.

— Чего?

— Красиво сделано, говорю.

Дед хмыкнул и ушёл запрягать.

Селиверстов приехал после обеда, на хорошей рессорной тележке, и первое, что я подумал, когда он выпрыгнул, — что рессоры у него те самые, каких у меня в сарае лежал обломок.

Был он лет тридцати пяти, в суконном пальто, в чистых сапогах, и у него было приятное лицо.

Вот это оказалось самым неприятным.

Я ждал мордоворота с кнутом. Приехал человек, который при входе снял картуз, перекрестился на образ в углу мастерской и сказал деду:

— Здравствуйте, Егор Саввич. Как здоровье?

— Здоровье, — сказал дед.

— Это хорошо.

Он поставил на верстак свой ящик — поменьше казённого, но из того же дерева, — развязал тесёмку на книге и начал считать.

Считал он вслух.

— Восемь, — сказал он. — Нутряные. Так. По сорока — три рубля двадцать. Пятнадцать копеек долой за вид, Егор Саввич, вы уж простите, тут вот на этом корпус вело и правлено напильником, у меня приёмщик в Туле на такое смотрит. Три рубля пять.

— Пятнадцать копеек, — сказал дед.

— Я бы и не считал, — сказал Селиверстов с настоящим сожалением. — Да у меня книга. Он положил на верстак три рубля и пятак, и дед взял их и ничего не сказал.

Я стоял у горна и смотрел.

Три рубля пять копеек за восемь замков. Триста рублей за год училища. Я на всякий случай посчитал ещё раз.

Чтобы заплатить за один год моего обучения, нам надо было сдать в дом Тулиных семьсот восемьдесят замков.

— А это что у нас? — сказал Селиверстов.

Он смотрел на верстак.

На верстаке лежал мой замок.

Я не убрал его. Это была целиком моя глупость, и объяснялась она просто: я трое суток не спал нормально, и утром, когда снял утку, я положил его на верстак и пошёл есть.

Селиверстов взял его в руки.

Он взял его так, как берут вещь люди, которые с вещами работают, — сразу правильно, за корпус, не хватая за ригель.

— Хороший, — сказал он. — Чей?

— Мой, — сказал я.

— Твой, Пётр Андреич?

Он впервые посмотрел прямо на меня, и мне стало понятно, что приятное лицо — это не ошибка природы, а инструмент, и человек умеет им пользоваться.

— Мой.

— А жар чей?

— Мой, — сказал дед от горна.

— Ну, стало быть, ладно, — сказал Селиверстов и успокоился.

И тут я сделал второе, что следовало не делать.

Он вертел замок в руках, щёлкал ригелем, оценивал — и в этом щелчке было одобрение, настоящее, без игры, и мне после трёх ночей и после двадцати четырёх, вписанных вместо двадцати двух, захотелось, чтобы кто-нибудь сказал это вслух.

— Сорок одна, — сказал я.

Селиверстов перестал щёлкать.

— Чего сорок одна?

— Ёмкость. Сорок одна, утка девятнадцать.

Я и сейчас помню, как в мастерской изменился воздух.

Дед у горна выпрямился очень медленно.

Селиверстов постоял, положил замок на верстак, вытер руки платком — не потому, что они были грязные, а чтобы занять паузу, — и сказал мягко:

— Кто мерил?

— Я.

— Чем?

Я кивнул на стену, на дедовский футляр.

— Домашним.

— Домашним, — повторил Селиверстов. — Егор Саввич, а мальчик у вас в разряде?

— Подручный он, — сказал дед.

— Подручный.

Селиверстов аккуратно завязал тесёмку на книге.

— Статья одиннадцатая, — сказал он. — «Не прошедший училища к пробе не допускается». Егор Саввич, я вас спрашиваю без всякого зла: вы понимаете, что ваш внук только что при мне сказал, что ставил пробу?

— Он не ставил, — сказал дед. — Он мерил.

— А разница в чём?

— Проба — для Палаты. А он для себя.

— Это вы мне говорите, — сказал Селиверстов. — Я-то соглашусь. А в Палате спросят иначе: откуда у вас своё число, если число ставит Палата?

Он помолчал.

— И знаете, что хуже? Хуже то, что число у него не круглое. Если бы он сказал «тридцать», я бы подумал: хвастает мальчишка. А сорок одна — это не хвастовство. Это мерили.

Дальше он сделал то, чего я не ждал.

Он сел на чурбак, поставил локти на колени и заговорил по-человечески.

— Пётр Андреич, — сказал он. — Я вам кое-что скажу, а вы послушайте, потому что вам никто больше не скажет.

— Слушаю.

— В дому Тулиных две тысячи работников, — сказал он. — Четыре горна в одном Туле. Мастеров второго клейма — девять человек. И знаете, что у нас болит? У нас болит, что мы ничего выше третьего сорта поставить не можем.

— Почему?

— Потому что у нас четыре горна и двести рук, — сказал Селиверстов. — Вещь начинает один, кончает другой, калит третий. А жар держится только в том, что сделано одной рукой от первого удара до последнего. Статья третья. И выходит, что чем нас больше, тем мы хуже.

Он развёл руками.

— Дом тридцать лет ищет, как это обойти. Деньги платит за одно: за мастера с ровной рукой, который делает вещь целиком. Такому мастеру дом даёт горн, уголь, железо и сто рублей в год.

Он посмотрел на меня снизу вверх, и смотрел честно.

— Я бы вас взял, — сказал он. — Вот сейчас, с этим замком. Я бы вас свёз в Тулу, определил в мастерскую, и через год вы бы ходили в сапогах и ели мясо. Клеймо ставить вам бы не дали — родовое не снимается. А работать бы дали.

— Под тулинским клеймом.

— Под нашим, — согласился он без всякого стыда. — А под каким ещё? Под вашим нельзя. Ваше запрещено с пятьдесят девятого года.

В мастерской было очень тихо.

— Нет, — сказал я.

Селиверстов кивнул, как будто ждал этого и даже был доволен.

— Я так и думал, — сказал он. — Вы на отца похожи.

Он встал, одёрнул пальто и взял мой замок с верстака.

— Это я возьму, — сказал он.

— Это не в наряде, — сказал я.

— Так и я не по наряду беру, — сказал Селиверстов. — Я беру на поверку. Вы при мне объявили число, которого по вашему роду быть не может, и мерили домашним прибором без права. Я обязан показать вещь в Палате. Если я этого не сделаю, а потом окажется, что знал, — это мне каторга, Пётр Андреич, не вам.

Он положил замок в свой ящик и завязал тесёмку.

— Отдайте, — сказал я.

— Не отдам.

— Это моя работа.

— Ваша, — сказал он. — И я её, между прочим, запомнил. Вещь хорошая. Если бы вы молчали, я бы её у вас купил за рубль и никому не сказал, и мы бы с вами сейчас не разговаривали.

Он надел картуз.

— Говорить вредно, — сказал Селиверстов. — Это самое главное, чему я в жизни выучился. Жалко, что бесплатно.

Он дошёл до двери и обернулся.

— В начале недели приедет пристав, — сказал он. — Не от меня. Я подам бумагу сегодня, он приедет сам, потому что ему по бумаге положено.

И добавил, уже совсем мягко:

— Егор Саввич, уголь-то припрятывайте. Не мой совет, а так, по-соседски.

Глава 5. Вызов

Пристава мы ждали три дня.

В субботу дед перетаскал уголь из мастерской в подпол и завалил сверху репой. В воскресенье он вынул из-под половицы жестяную коробку, ушёл с ней куда-то на час и вернулся без неё.

Где она теперь лежала, он мне не сказал, и я не спросил.

В воскресенье же он меня проинструктировал.

— Мерника не видел, — сказал он. — Чисел не называл. Приказчику сказал по глупости, с чужих слов. Чьих слов — не помнишь.

— Он меня спросит, откуда число.

— С базара слышал.

— Дед, я назвал сорок одну и девятнадцать. Такое на базаре не слышат.

Старик посмотрел на меня.

— Ты, Петька, вот что пойми, — сказал он. — Пристав не затем едет, чтоб правду узнать. Он затем едет, чтоб бумагу закрыть. Ему надо, чтоб в бумаге сошлось. Дай ему, чем закрыть, и он уедет.

Это было, пожалуй, лучшее объяснение государственного устройства, какое я слышал в двух жизнях.

Ждать я не умел никогда, поэтому ждал с пользой.

Я сел и начал писать.

Бумаги у нас не было, была пачка старых нарядов за прошлые годы, исписанных с одной стороны. Карандаша тоже не было, был уголёк и позже — свинцовая палочка, которую я отлил сам из грузила.

Я писал с чистой стороны, мелко, и первое, что я написал сверху, было:

Что мы знаем о пробе.

Дальше шли четыре строки.

Первое. Проба мерит два числа: ёмкость и утечку за сутки покоя.

Второе. Утечка мерится в покое. Под нагрузкой вещь отдаёт иначе, и это число никто не мерит.

Третье. Жар держится только в том, что сделано одной рукой от первого удара до последнего. Это статья третья, и её знают все.

Четвёртое. Бирки на нашу работу заполняют до проверки. Значит, по нашему роду проба не мерит, а переписывает.

Я посмотрел на эти четыре строки и подумал, что в прежней жизни назвал бы это «предварительные данные» и постеснялся бы показать начальнику.

А потом подумал, что в этом мире, кажется, таких четырёх строк нет ни у кого.

Кроме одного человека, который поехал с ними в Тулу восемь лет назад.

Пристав не приехал.

В понедельник утром по улице прошёл почтарь, и я его увидел из окна мастерской, и сначала не понял, что он идёт к нам, потому что к нам не ходят.

Он постучал в дверь мастерской, заглянул, нашёл глазами деда и сказал:

— Кречетову. Пакет казённый, под расписку.

Дед вытер руки и расписался крестом.

Я смотрел на этот крест и думал, что человек, который на глаз берёт температуру стали с точностью до пятидесяти градусов, не умеет написать свою фамилию.

Пакет был из плотной бумаги, с печатью на шнуре и с орлом.

Дед подержал его, повертел и отдал мне.

— Читай.

Я сломал печать.

ИМПЕРАТОРСКОЕ ОРУЖЕЙНОЕ УЧИЛИЩЕ, в городе Туле.

Кречетову, Петру Андрееву, посада Кречетово, одарённому, по спискам Палаты клейм за 1888 год.

На основании Устава о мастерстве с жаром, по достижении полных шестнадцати лет, Вы призываетесь к обучению и обязаны явиться в училище к 15 ноября сего года.

Плата за содержание и обучение — триста рублей в год, вносится родом призываемого вперёд за год.

При невнесении платы обучение производится на казённый счёт, с обязательством прослужить по окончании десять лет в месте, определённом Палатою.

Неявка почитается уклонением и влечёт взыскание по закону.

Я прочитал это вслух, целиком, два раза, потому что в первый раз не поверил в один абзац.

Потом я положил бумагу на верстак и сел.

— Это не от Селиверстова, — сказал я.

— Нет, — сказал дед.

— Это по возрасту. Я в их списках с восемьдесят восьмого года. Мне тогда было пять.

— Пять, — согласился дед. — Приезжали, мерили. Всех мерят, кому пять. У кого жар есть, того пишут.

— И через одиннадцать лет вызывают.

— Вызывают.

Я посмотрел на орла на печати.

Вот что меня в этом добило. Не Селиверстов с его приятным лицом, не поверщик со своими двадцатью четырьмя. Их я понимал: люди, у которых работа и книга.

А это было другое. Это была машина, которая завели меня в список, когда мне было пять, и которая ровно через одиннадцать лет выплонула бумагу и предъявила счёт. Без злобы. По расписанию.

— Дед, — сказал я. — А если я не поеду?

— Уклонение, — сказал дед. — Взыщут с рода. Чем взыскивать, у нас нет, значит опишут мастерскую.

— А если поеду за казённый?

Дед не ответил.

Он отошёл к горну, сел на свой чурбак и стал ковырять палкой в золе.

— Дед.

— Казённый счёт платит в казну дом, — сказал он. — За тебя заплатит дом, и в службу тебя Палата определит к тому дому, который платил. На десять лет.

— К Тулиным.

— К Тулиным, — сказал дед. — Или к Златоустовым, если в тот год они больше внесут. Да какая тебе разница.

Он поднял голову.

— Десять лет, — сказал он. — С шестнадцати до двадцати шести. И клейма тебе всё равно не дадут, потому что родовое не снимается. Ты будешь делать им вещи за харчи, а ставить на них будут их.

Я сидел и смотрел на лист с орлом.

Селиверстов предлагал мне то же самое за сто рублей в год, добровольно, и я отказался, и он уехал почти довольный.

А теперь то же самое приезжало ко мне казённым пакетом, бесплатно и без права отказа, и я наконец понял, почему он уезжал довольный.

Ему не нужно было меня покупать. Ему нужно было только подождать до пятнадцатого ноября.

В тот же день я пошёл по посадку занимать.

Я не надеялся. Я перебирал варианты, потому что перебрать их надо все, даже заведомо пустые, — иначе потом будешь всю жизнь думать, что один не проверил.

Начал с дьячка.

Дьячок Кузьма был человек грамотный, жил при церкви, держал десяток ульев и слыл в посаде богатым, потому что у него были книги.

Он выслушал меня, посчитал на счётах, которых у него не было, покивал и сказал:

— Петя, у меня три рубля сорок. Все.

— Понял.

— Я бы дал, — сказал он, и это была правда. — У меня нету.

Он помолчал и ушёл в заднюю комнату, и вернулся с листом хорошей бумаги.

— Вот, — сказал он. — Это возьми.

— Зачем мне бумага?

— А затем, что ты в Тулу писать будешь, — сказал дьячок. — На обороте наряда в казённое место не пишут, его и читать не станут.

Он протянул лист и придержал его на секунду дольше, чем надо.

— Отец твой у меня тоже за бумагой приходил, — сказал он. — В марте, перед Тулой. Я ему два листа дал.

Мельник Фрол отказал по-другому.

Он не сочувствовал. Он сидел на ларе, смотрел мимо меня и спрашивал по делу.

— Под что?

— Под работу. Я отдам с заработка.

— С какого заработка?

— Замки.

— Замки ты дому сдаёшь по сорока копеек, — сказал Фрол. — Это я знаю, у меня шурин в лавке. Триста рублей замками — это восемь лет. Я восемь лет не живу так долго.

— Под мастерскую, — сказал я.

И вот тут он впервые на меня посмотрел.

— Мастерская у вас без клейма, — сказал Фрол. — Егорова мастерская стоит ровно столько, сколько в ней железа, а железа в ней пуда на три. Ты мне что заложить хочешь — наковальню?

Он сплюнул в сторону, беззлобно.

— Ты, малый, не обижайся. Вам не дают не потому, что вы плохие. Вам не дают потому, что с вас взять нечего.

Деньги мне дала соседка.

Та самая, у которой я в октябре выпросил кости и которая тогда посмотрела на меня странно. Звали её Акси́нья, лет ей было около шестидесяти, и жила она с сыном и невесткой.

Она вышла к плетню, когда я проходил обратно, и сказала:

— Петька. Поди.

Я подошёл.

Она сунула мне в руку что-то завернутое в платок и сразу убрала руки за спину, будто обожглась.

— Это чего? — сказал я.

— Двадцать копеек, — сказала Акси́нья. — Мужу моему не говори. И невестке не говори.

— Акси́нья Фоминишна, мне триста рублей надо.

— Ну так и что, — сказала она. — Триста у меня нету, а двадцать копеек есть.

Она пошла к дому и уже от крыльца обернулась.

— Отец твой мне печку клал, — сказала она. — Двенадцать лет стоит, ни одна щель не пошла. Иди, Петя.

Итог похода по посадку был такой: двадцать копеек и один лист хорошей бумаги.

Я шёл домой и, честно говоря, был не так расстроен, как должен был.

Потому что кроме двадцати копеек я принёс кое-что ещё, и это второе я в тот вечер записал на обороте наряда, хотя тогда ещё не понимал, зачем.

Что дом Тулиных платит по сорока копеек и об этом знает каждый в посаде.

Что мастерская без клейма стоит цену железа в ней.

И что из трёх человек, с которыми я в тот день говорил, двое по своей воле вспомнили моего отца.

— Сколько у нас есть? — спросил я.

Дед ушёл в избу и вернулся с тряпичным кошелём.

Он выложил на верстак всё, что в нём было, и разложил столбиками, потому что по-другому не умел.

Одиннадцать рублей сорок копеек.

— Это за сколько собрано? — спросил я.

— Как Андрей уехал, так и собираю, — сказал дед.

Восемь лет. Одиннадцать рублей сорок копеек.

Я взял свинцовую палочку и посчитал на обороте наряда, и считать было нечего, но я всё равно посчитал, потому что мне надо было увидеть это написанным.

Триста рублей. Наряд — восемь замков в месяц. Сорок копеек за замок, минус вычеты за вид, значит около трёх рублей с наряда.

Сто нарядов.

Восемь лет и четыре месяца.

— Восемь лет, — сказал я.

— Вот и я говорю, — сказал дед.

Он собрал монеты обратно в кошель, затянул тесёмку и сказал спокойно, как говорят о погоде:

— Поедешь

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.